
Серединка
Сирутис Кирилл

Кирилл Сирутис
Серединка

https://litres.ru/75031572
SelfPub; 2026

Аннотация

«В Кривояре жил — да серединку знаешь». Присказку эту знали все — но никто не спрашивал, что же в серединке.

Тихона зовут Стёкла: с тех пор, как в семь лет с ним случилось то, чего он не помнит, он смеётся, когда страшно, и смотрит ровно, когда больно. Один во всём посёлке он охотится в серединке леса — и однажды находит там круг черноты, осыпанный ровным пеплом, и лисью пасть, которая закрывается сама. А из-под земли детский голос говорит: «Наконец-то. Хозяин ждёт».

В то же утро в лес уходят трое подростков с камерой — и туман отпускает их не там, где забрал. Впереди посёлок, похожий на их, как отражение на лицо. Дома пустые, свет в окнах смотрит в другую сторону, а на столбе царапано свежим гвоздём: «ОН ВСЁ ЕЩЁ ХОДИТ».

Теперь Тиша и дети — гости в чужом доме. Хозяин раздаёт задания, бабушка у печи встречает всех, кто выйдет к её окну, а настоящая кровь — единственное, чего Хозяин не может сделать пеплом. Чтобы вернуться, надо понять, почему он ждал семнадцать лет — и кого именно.

Содержание

Глава 1. Стеклянный 5
Глава 2. Хозяин 14
Глава 3. Костёр 19
Глава 4. Заяц 25
Глава 5. Обрез 32
Глава 6. Хозяйка 37
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Кирилл Сирутис
Серединка

КРИВОЯР

повесть

«В Кривояре жил — да серединку знаешь»

кривоярская присказка

Глава 1. Стеклянный

Тиша проснулся за минуту до будильника, как просыпался всю жизнь — без перехода, сразу из мёртвого сна в холодную ясность. Открыл глаза. Потолок. Трещина на потолке, похожая на высохшую реку. Он смотрел на неё каждое утро двенадцать лет и до сих пор не мог решить, на что она похожа больше — на реку или на реку, которая однажды захотела стать чем-то другим и не смогла.

За окном шёл ноябрь. Настоящий, плотный, с изморозью на проводах.

Он встал, налил себе воды из-под крана, которая шумела всегда, даже когда насос должен был молчать, и поймал себя на том, что улыбается. Причины не было. Утро. Он отпил воды, посмотрел на своё отражение в тёмном окне и подумал, что сегодня — хороший день, чтобы сходить в лес.

Не потому что нужно мясо. Мясо в морозилке было. Просто хотелось.

Так это и работало: Тиша убивал для удовольствия, и он давно перестал это от себя скрывать — хотя бы от себя. В жестокости дела не было. Когда он брал ружьё, шёл по чернотропу, выжидал и спускал курок — в голове наступала тишина. Не пустая, не глухая. Хорошая тишина, как в храме, из которого выгнали всех молящихся, но оставили свечи. Единственная тишина, которую он знал.

Ему было двадцать четыре. Все в посёлке звали его Тишей, и никто, кроме двора, где он вырос, не помнил, что имя было длинным — Тихон. Длинное имя умерло вместе с тем, что случилось в его семь лет.

То, что случилось, он не помнил. Помнил запах. Помнил, что кричал, а потом — что смеялся, и смеялся так, что соседка тётя Варя вынесла его на улицу и держала за плечи, пока он не выдохся. С тех пор — с семи лет — если Тише было больно, он смеялся. Если страшно — смеялся. Хуже всего было наоборот: когда было хорошо, лицо у него делалось ровным, стеклянным, как у человека, смотрящего сквозь тебя на нечто, стоящее за твоей спиной.

Про глаза ему говорили разные вещи. В школе — за спиной. В районной больнице — в лицо, но вежливо. «Глаза как стёкла, как у куклы. Ты нас слышишь, Тиша?» Он слышал. Он всегда всё слышал. Просто глаза не умели показывать то, что происходит внутри, — с детства они были дверью, из которой вынули замок и забыли вернуть.

Глаза он называл про себя «стёкла». Это было удобно: стёкла не боятся. Стёкла не болят.

Посёлок назывался Кривояр, и в нём было двести сорок домов, из которых обитаемых — меньше сотни. Он стоял в низине, со всех сторон обставленный лесом, как мебелью, доставшейся от умершей родни: пользоваться страшно, выбросить жалко. Лес вокруг был обычный — сосна, осина, ольха по низинам, — но у местных была присказка: «В Кри-

вояре жил, да серединку знаешь». Никто не говорил, что в середине. Просто серединку знали. Или не знали — и потому не ходили.

Тиша знал серединку. Он один из всего посёлка охотился там, куда другие не совались, и это ничуть не помогало его репутации. В магазине про него говорили так, будто он прилюдно ковырялся в носу: «А, Тихон. Ну, Тихон это Тихон. Стёкла».

Сегодня он собирался, как всегда, неторопливо. Ружьё — старое, дедово, в масле по стволу и в горле сразу, потому что ружьё должно быть тёплым на ощупь, если с ним жить. Патроны. Нож для срубки кожи — узкий, с рукоятью, обмотанной кожаным шнуром, сточенный до жала: им он снимал шкуру, как снимают свитер, и эта работа всегда успокаивала его сильнее самого выстрела. Выстрел — это мгновение, а шкура — это полчаса тихого, ровного ремесла.

И второй ствол — короткий, обрез, лежавший в рюкзаке под курткой. Никто в посёлке не знал про обрез, и Тиша не знал, зачем носит его, — «на всякий», говорил он себе, и «всякий» оставался неопределённым. С двенадцати лет, когда он начал ходить в лес один, он брал его каждый раз. Как зонтик. Человек с зонтом не верит в дождь — он просто знает, что небо не договаривается с ним честно.

Термос. В термосе был чай, сваренный на газовой плите в кастрюле, потому что электрического он не признал принципиально, — Тиша вообще имел странности, но держал их

при себе, как патроны: по одному, в нужный момент.

На календаре над столом висел листок за ноябрь. Число на нём было правильное. Он проверил — машинально, как проверял каждый день с той недели, как заметил, что в посёлке что-то не так.

А что-то не так было. Он пока не знал, что именно. Знал только, что за последние дни посёлок стал похож на посёлок с фотографии, которая слишком долго лежала на солнце. Сначала он решил, что это у него с головой — с его-то головой, легко. Но потом начал проверять, как проверяют зрение по таблице, строчка за строчкой.

Дом Грачёвых на окраине — там, где на заборе висела ржавая жестяная лейка. Лейка висела. Дом был. А вот крыльцо Тиша не мог вспомнить: бетонное оно было или деревянное? Он проходил мимо этого крыльца три тысячи раз. Каждый день. Он вспомнил, что Грачёвы уехали в девятьсот каком-то году, вспомнил, что у них была собака по кличке Марта, вспомнил даже, что Марта боялась петуха. А крыльца — не было в памяти. Ни цвета, ни материала, ни ступеней. Как будто кто-то взял и стёр одну строчку в хорошо заученном стихотворении — и стихотворение продолжало читаться, но теперь в нём было тихое, невыносимое «почему».

Потом — лавка. Он помнил, что над лавкой висит вывеска «ПРОДУКТЫ», где «О» в слове «продукты» давным-давно отвалилось и вместо него была чернота фанеры. «П Р О Д У К Т Ы». Тысячу раз в детстве он уходил в этот «О» взгля-

дом, потому что «О» было бездонным. На той неделе, проходя мимо, он поднял голову — и «О» висело на месте. Целое, синее, с облупившейся краской. Тиша остановился посреди дороги и посмотрел на него, как смотрят на человека, назвавшего тебя чужим именем. Потом рассмеялся. Люди на улице не обернулись — им было всё равно, к Тишину смеху они привыкли, — а он смеялся и думал: интересно, кто вернул букву. И зачем. И почему от возвращённой буквы хочется, чтобы кто-нибудь взял меня за руку и сказал: зря ты сюда пришёл, Тиша, беги.

Он не побежал. Стёкла не бегают.

На краю посёлка, там, где асфальт сдавался и дальше шла грунтовка, стоял столб. Обычный бетонный столб, на котором ещё с его детства висела плашка «Внимание! Проведение лесных работ». Лесных работ тут не проводилось никогда — плашку вешали до Тишиного рождения, и она была такой же частью пейзажа, как сама сосна за ней.

Тиша остановился у столба. Посмотрел на плашку. Дочитал слово «внимание» — до этого он никогда не читал его целиком, оно было просто фоном, как вывеска лавки.

Под плашкой, на бетоне, была выцарапана надпись. Не краской — чем-то твёрдым, гвоздём или шилом, много раз, по одному и тому же штриху, до стекловидного лоска на бетоне.

«ОН ВСЁ ЕЩЁ ХОДИТ»

Тиша прочитал. Переждал то, что должен был почувство-

вать, — и не почувствовал ничего. Внутри, вместо привычного желе страха, было ровное, светлое, пустое место, и из этого места поднимался смех — тихий, беззлобный, почти ласковый. Он посмеялся над столбом. Потом достал перочинный нож и тронул остриём последний штрих — свежий. Бетонная пыль ещё осыпалась. Царапали не раньше вчерашнего вечера.

«ОН всё ещё ходит», — подумал Тиша, и смех стал суше. — Интересно, кто это. И почему «ещё».

Он знал все двести сорок домов и всех, кто в них жил, включая тех, кто жил в них в прошлой жизни. Он не знал никого, кто царапал бы на столбах.

Он пошёл в лес. Это было хорошим решением — так он решил. В лесу не было вывесок с возвращёнными буквами. В лесу всё всегда было честно: либо ты стреляешь, либо тебя видят.

Лес встретил его тишиной, от которой звенело в ушах. Ноябрьский лес шумит ветром в макушках, скрипит инеем, отпугивает — а этот молчал, и молчание было такой плотности, что в нём было слышно, как под курткой едет молния.

«Ладно, — подумал Тиша, ввинчиваясь в чернотроп. — Молчим. Молчим, я тоже умею».

Он шёл около часа, когда понял, что не слышит собственного дыхания.

Не странно. Даже интересно. Он остановился, прислушался — дыхание было, он дышал, пар вылетал изо рта, — но

звук шёл изнутри головы, приглушённый, как через войлок. Он поднял руку и пошевелил пальцами у самого уха. Пальцы шуршали перчаткой. Дыхание — нет.

«Вот и хорошо, — подумал он. — Меньше шума — больше птиц».

Птиц он не видел ни одной. Заячьих троп было полно, и все тропы были свежие, но идти по ним было нехорошо, и Тиша, который не знал слова «нехорошо», шёл по ним всё равно, потому что больше идти было не по чему.

Ружьё он держал наизготовку из тех же соображений, по каким другие крестятся: не потому что верил, а потому что так было заведено.

Опушка кончилась, и он вышел к месту, которого не знал. А он знал лес, как свои зубы: каждый лог, каждую гать, каждую лесину с вывороченным корнем. Это место не подходило ни к одной карте в его голове — и одновременно подходило ко всем сразу, как перчатка на два пальца больше нужного.

Там стояли три ели. Между ними — круг черноты, не яма, не прогалина: просто место, где свет заканчивался раньше, чем начиналось что-то ещё. По кругу черноты, по земле, был насыпан мелкий пепел — ровный, как по шнуру.

А в пепле, у самого края, лежала лисья пасть. Целая челюсть, с клыками, свежая, с влажной шерстью по краям — как будто её сняли аккуратно, одной плёнкой, вместе с губами. И никаких следов вокруг: ни крови, ни лап, ничего.

Тиша присел на корточки. Посмотрел на пасть так близко, что мог бы сосчитать зубы, — и посмеялся бы, если бы она закрылась.

Пасть закрылась.

Медленно, с влажным звуком, как у человека, которому стало смешно в неподходящий момент. И лёгкая, всегда ровная тишина в Тишиной голове качнулась — и в ней, впервые за семнадцать лет, было слышно, как где-то очень глубоко, под полом его сознания, кто-то прошёл. Один шаг. Второй. И остановился.

Тиша выпрямился. Ружьё в руках было холодным, как речное дно.

«Ладно, — сказал он вслух, и голос прозвучал в мёртвом лесу оглушительно. — Ладно. Смело».

Он не знал, кому это сказал. Ему ответили — из черноты между елями, из-под земли, из-за спины, из всех направлений сразу — тихим, вежливым, почти домашним шорохом, похожим на тот, которым дом трещит по ночам, когда в нём кто-то есть.

Из глубины черноты, на глубине вытянутой руки, на него посмотрели глаза. Много глаз. Расставленные не так, как у живого, — и горящие не тем, чем горят звериные.

И Тиша сделал то, чего не сделал бы ни один человек в посёлке, и то, чего не сделал бы вообще никакой человек: он не поднял ружьё. Левой рукой он медленно, не глядя, достал из-под куртки обрез — просто держал опущенным, как зон-

тик в ожидании дождя, — наклонил голову чуть-чуть, вежливо, как здороваются со старшими, — и засмеялся.

Тихо. Почти ласково.

Глаза моргнули. Все сразу.

А из-под земли, сквозь слой мёртвой листвы и пепла, до него долетел голос — детский, тонкий, с той особенной интонацией, с которой в домах разговаривают с хорошими гостями:

— Наконец-то. Хозяин ждёт.

Глава 2. Хозяин

Голос стих прежде, чем Тиша успел ответить. Не замолчал — именно стих, как выключили.

Он постоял ещё с минуту, глядя в черноту между елями. Глаза больше не мигали. Ушли — или ждали, что он сам сделает шаг.

«Хозяин», — подумал Тиша. — «Наконец-то». Хозяина в лесу не было семнадцать лет, и Тиша помнил это всем телом, как помнят протез: там, где он был, всегда ноет. Но кто-то в этой земле ждал его. Кто-то дослушал его смех до конца — и не испугался.

Он шагнул в черноту. Не потому что решил, а потому что решил слишком поздно: нога уже была там, где кончался свет.

Чернота не была ни ямой, ни туманом. Она была как вода за той гранью, где вода перестаёт быть водой, — не давила, не холодила, просто не пускала свет дальше Тишиного лица. Он шёл. Под ногами не было земли, и не было падения — был шаг, ещё шаг и час, которого не было на его календаре.

А потом был свет.

Свет был ноябрьский, но не тот: как если бы кто-то посмотрел на ноябрь из-под воды и срисовал по памяти. Иней лежал на ветках правильно, но слишком старательно, ветка к ветке, как пайка на праздничном столе. Небо было цве-

та глянцевой фотографии. В воздухе не пахло ничем — ни хвоей, ни мёрзлой землёй, ни дымом, — и эта стерильность пугала сильнее любого смрада. Тиша не испугался. Он снял перчатку, потрогал воздух и подумал, что здесь даже молчание чужое.

Впереди, там, где по всем его картам не было ничего, стоял посёлок.

Его посёлок.

Дом Грачёвых стоял на своём месте, и на заборе висела та же жестяная лейка, — но крыльцо было. Вот оно: бетонное, целое, с трещиной у первой ступени, с ковриком, с крючком для ключа. Крыльцо, которое он не мог вспомнить утром, теперь стояло перед ним и смотрело на него, как кошка, которую звали чужим именем и которая всё равно пришла.

Тиша подошёл. Тронул перила. Перила были тёплые.

Он рассмеялся — тихо, себе под нос, — и пошёл дальше, по улице, которая была его улицей и не была ничьей. Лавка была на месте, и вывеска была, и «О» висело в слове «ПРОДУКТЫ» — целое, синее, слишком яркое для этой черноты, как будто его приклеили час назад. Дома стояли плотно, плечом к плечу, и в каждом окне было темно, но так темно, как бывает не от отсутствия света, а от того, что свет внутри смотрит в другую сторону.

Улица шла по прямой, и в конце её был поворот, которого в Кривояре не существовало, — и за поворотом улица начиналась снова. Тиша заметил это не сразу. Сначала показа-

лось, что он ходит кругами. Потом он понял точнее: улица была петлёй, и петля была завязана не на посёлке, а на нём. Куда бы он ни пошёл, посёлок услужливо разворачивался перед ним новыми домами — и во всех домах было крыльцо Грачёвых. Одно и то же, тёплое, с ковриком.

«Значит, так», — сказал Тиша вслух. — «Играете. Играю».

Он посмеялся. И, посмеявшись, почуял — впервые в этом мире — запах. Не хвою, не мерзлоту. Дым. Тонкий, живой, человеческий дым — и под ним ещё что-то, от чего у него, человека, смеявшегося всю жизнь над всем, что могло случиться, свело пальцы на рукояти ружья.

Запах был готовый. Как у походной горелки.

Он пошёл на дым. Минут через десять, за пустой избушкой, у поворота в никуда, он увидел огонь — маленький, дрожащий, человеческий — и три силуэта вокруг него.

Их он рассмотрел сразу: дети. Один — с камерой у лица, второй — худой, длинный, в чужом для себя мире, как голубь на вокзале, девочка — ближе всех к огню, с коленями, обхватанными руками. Они говорили. Впервые за весь день в лесу звучала человеческая речь, и Тиша стоял в тумане и слушал её, как слушают музыку из чужого окна.

Их имена он узнает позже. Пока он знал о них только то, что они живые, что они не отсюда — и что они, как и он, спустились сюда через круг. А вышло это вот как.

Накануне, за несколько часов до Тишиной охоты, у кана-

ла «Тихий Кривояр» было сорок три подписчика, и Сенька Лапин знал каждого из них по имени. Двенадцать были живые: одноклассники, тётка из Пензы и отцов напарник, который лайкнул одно видео и с тех пор считался аудиторией. Сенька вёл канал про Хромого — браконьера, пропавшего из балка у ржавого карьера вслед за лесником Клюевым, восемь лет назад. Про Хромого не было ни тела, ни дела, ни конца истории — и потому история жила. Под второй серией, в три тридцать три ночи, появился единственный настоящий комментарий: «он всё ещё ходит», без точки, и аккаунт его к обеду удалился сам. Сенька заскринил. Лиза — скептик, который держал его на земле, — сказала, что деды не удаляются с аккаунтов, и была по-своему права.

В субботу они пошли в лес: Сенька за идеей, Витёк — за кадром, Лиза — за ними обоими, потому что двоих без третьей в такие истории не отпускают. Они шли через Гнилой лог, снимали туман, столб у выезда, друг друга; Витёк уронил в снег варежку и не заметил. Тропа, по которой они пошли на сторожку Клюева, была на их карте. Долог ли был путь до неё — они не поняли: туман собрался вокруг них плотнее, чем бывает от воды, шаги перестали откликаться, а когда туман отпустил, за их спинами не было ни лога, ни посёлка — была чёрная стена, до которой никто из них не дошёл бы пешком и за час. Сенька до последнего говорил в камеру. Витёк снимал. Лиза смотрела назад и молчала. У них был рюкзак с едой, горелка, сорок минут отснятого

неба и целая ночь впереди — в посёлке, который был похож на их посёлок, как отражение похоже на лицо: в точности и насмерть.

Тиша мог развернуться. Он знал все тропы и знал, что уйти из чужого посёлка проще, чем из своего, — но дым был человеческий, и дети были живые, и внутри него, там, где у людей сидит любопытство, сидевшее у него же, как сидит у стекла муха: тихо и навсегда, — что-то сдвинулось.

Он шагнул из тумана на свет.

Девочка обернулась первой. Она открыла рот и закричала — не своим голосом, тем, который у людей вообще не предназначен для людей, — и свет костра дрогнул от её крика. Мальчик с камерой вскинул её на Тишу. Третий, худой, отшатнулся и упал в снег.

Тиша постоял. Потом наклонил голову — чуть-чуть, вежливо, как здороваются со старшими, — и улыбнулся. Улыбка у него выходила ровная, стеклянная, и в свете костра она должна была быть последним, что они видели.

Но он сказал. Тихо, почти ласково, тем же тоном, каким говорят с хорошими гостями:

— Вы по Хромого? Я тоже.

Мальчик не опустил камеру. На маленьком ярком экране, за Тишиной спиной, в тумане, который только что отпустил Тишу и больше никого, стояло что-то ещё.

Глава 3. Костёр

Никто из них не двинулся. Даже камера дрожала ровно — Витёк держал её так, как держат не вещь, а последнюю опору.

Тиша стоял в двух шагах от света и ждал. Он умел ждать на охоте — по два часа в снегу, пока заяц решится выйти на тропу, — и от этого умения у него осталось главное: спокойствие, которое со стороны читалось чем-то худшим, чем спокойствие.

Первой ожила Лиза.

— Не бегите, — сказала она тихо, не отрывая глаз от Тиши. — Если побежите, будет хуже. Оставайтесь на месте.

— Лиза, он с ружьём… — прошептал Витёк.

— Я знаю, что с ружьём. Оставайтесь. На. Месте.

Сенька медленно поднял камеру от лица. На экране Тиша был такой же, как вживую: высокий, в старой куртке, с ружьём вдоль тела, со снегом на плечах — снегом, которого в этой темноте не падало, и который всё-таки лежал.

— Вы, — сказал Сенька, и голос у него сел на середине, — вы Тихон? Из Кривояра? Тот, который… который…

— Стёкла, — подсказал Тиша. — Тихон. Стёкла.

Он сделал шаг к огню, и Витёк всхлипнул. Тиша остановился, присел на корточки — медленно, показывая каждое движение, как показывают зверю, — и поставил ружьё на снег — на виду. Потом снял рюкзак, достал термос и откру-

тил крышку.

— Садитесь, — сказал он. — Чай остынет.

Так начался самый странный разговор в истории Кривояра — если считать, что она где-то записывалась.

Они сели. Все трое, как севшие на электрический стул, — но сели. Витёк держал камеру в руках и не опускал её: сквозь стекло было безопаснее. Сенька смотрел на Тишины руки. Лиза — в лицо.

— Вы нас не отдадите? — спросила она.

— Кому?

— В посёлке. Мы же из вашего посёлка. Ну, из настоящего.

Тиша разлил чай по крышке-чашке и протянул ей. Лиза взяла — обеими руками, как берут горячее, когда руки не свои.

— В этом посёлке никого нет, — сказал Тиша. — Сами видели. Дома пустые. Свет горит — а никого нет.

— Это не посёлок, — сказала Лиза. — Это макет.

— Может быть. — Тиша отпил из своей крышки и посмотрел на них поверх пара. — Тогда скажите мне, Лиза, кто делает макеты такого размера. С запахом снега. С холодом. С чаем, который остывает, как положено остывать.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Сенька назвал. В пятницу, на записи. Я стоял в тумане и слушал. — Тиша улыбнулся своей стеклянной улыбкой, и Витёк, следивший за ней в экран, отвёл объектив в сторону.

— У меня хороший слух. С детства.

— Вы… слушали нашу запись? — Сенька облизнул пересохшие губы. — Про Хромого?

— Про Хромого, — повторил Тиша, и слово в его рту прозвучало не как имя, а как привычка. — Да. Я тоже его ищу.

— Вы его знаете?

— Знаю балок, в котором он жил. Знаю карьер. Знаю, куда он ходил на петли и где он ставил их на заячьи тропы, — а ставил он их, между прочим, неправильно, грамотею, петля у него к ветке был привязан скользящим, — Тиша говорил ровно, домашним голосом человека, перечисляющего соседей, — и знаю, что в восьмом году он ходил в лес больше, чем в балок. Жил в лесу. А из леса не выходят, Лиза. Ты умная девочка, ты сама это понимаешь. Из леса не выходят — их оттуда выносят.

Стало очень тихо. Только огонь щёлкнул.

— Погодите, — сказал Сенька, и в голосе его впервые прорезалось то самое, детективное, за что он ставил лампу к простыне. — Если вы его знали… вы знали и лесника. Клюева. Степан Ильич.

Тиша помолчал.

— Знал, — сказал он наконец. — Хороший был человек. Плохо кончил.

— Он умер?

— Он ушёл, — сказал Тиша. — Здесь слова «умер» не работают, Сенька. Здесь уходят. Слышишь, как я говорю:

здесь. Ты уже тоже здесь.

Витёк дёрнулся и посмотрел за спину Тиши — туда, где в тумане, на экране камеры, стояло что-то ещё. Стоило. Больше не стоит. Витёк не сказал об этом. Он сунул камеру под куртку и не сказал об этом, потому что человек, который не сказал, — это ещё не предатель, а человек, который сказал, — уже доносчик. Так думали в пятнадцать лет, и иногда это даже спасало.

— Мы вернёмся, — сказала Лиза. Вдруг. Твёрдо. — Понимаете? Мы просто пошли посмотреть сторожку и вернёмся. Нас ищут. Мои родители… у меня мама. Вы слышите? Мне пятнадцать лет.

Тиша смотрел на неё без выражения — и выражение было как раз в этом: ничего не было, а было только отражение огня в стёклах.

— У тебя тоже чай на плите? — спросил он.

— Что?

— У лесника был. Чай на плите, собака на цепи, дом открытый. Он тоже думал, что вернётся. Все, кто попадает сюда, думают, что вернутся, — Тиша допил чай и аккуратно, бережно вытер крышку рукавом. — Я не хочу тебя пугать, Лиза. Мне просто нечем тебя обнадёжить. Правда — это всё, что я умею давать людям. Правда и чай.

— А зачем вы тогда нас позвали? — вырвалось у Сеньки. — Чего вы хотите?

Тиша посмотрел на него долго. Так, что Сенька понял: во-

прос был не идиотский, но и не детский, и ответ на него Тиша подбирал — впервые за вечер подбирал слова.

— Меня позвали, — сказал он. — Сказали: хозяин ждёт. Я пришёл. Хозяин здесь семнадцать лет никого не ждал, а теперь ждёт — и позвал вас тоже, не ко мне, а ко всем нам сразу. Дети пришли в гости. Я пришёл в гости. Кто-то ещё придёт. — Он поднял голову на чёрные верхушки елей, которых не было видно. — Хозяин раздаёт задания, Лиза. Дал мне — сейчас даст вам. Он это любит. Считает, что гость в доме без дела — гость плохой.

— Какой хозяин? — прошептала Лиза.

— Домашний, — сказал Тиша просто. — Домовой, если по-старому. Только здесь он не домовой. Здесь он скорее наоборот.

И тут огонь осел.

Не погас — осел: пламя легло на угли, как ложится собака, услышавшая шаг хозяина, и жар остался, а света стало меньше. Одновременно — Лиза заметила это первой и потом не сможет объяснить никому, почему заметила именно это — дым костра перестал тянуть вверх. Он потянулся вбок. В темноту. Ровно, тонко, как нитка, — туда, за спину Тиши, к черноте между елями, и чем дальше тянулся, тем был тоньше, и в конце концов дыма не стало видно вовсе. Как будто его кто-то туда втянул. Вдохнул.

Витёк медленно достал камеру из-под куртки.

— Сенька, — сказал он шёпотом. — Запись идёт?

— Идёт.

— Тогда не оборачивайтесь. Ни вы, ни она. — Витёк смотрел в экран. Голос у него дрожал, но палец на кнопке был твёрдый, и в этом жесте было больше взрослости, чем во всём, что он делал раньше. — Оно стоит. За Тишей. Оно смотрит на костёр. Оно ждёт, — Витёк сглотнул, — оно ждёт, когда мы начнём задание.

Тиша не обернулся. Он допил чай до конца, закрутил термос и встал — спокойно, как встают из-за стола.

— Ну вот, — сказал он почти весело. — А вы боялись, что делать будет нечего.

Глава 4. Заяц

Огонь осел, и из темноты за спиной Тиши вышло то, что стояло там с самого начала.

Оно не приближалось — просто стало ближе, как бывает в комнате ночью, когда между «почти рядом» и «рядом» не остаётся никакого расстояния, а шагов не было слышно. Тиша повернулся — медленно, всей грудью, как поворачиваются с ружьём, чтобы ствол не задел ничего чужого.

Сначала он принял стоявшее перед ним за кучу хлама: лавочный угол, дверную скобу, пучок старого мочала, крышку от чугуна. Потом куча втянулась, собралась — и стала маленьким сухим стариком ростом Тише по грудь. Руки у него были как дверные скобы, борода — как пучок пакли с очёсами, лицо — как дверь с обивкой: по нему были рассажены мелкие глаза, десятки глаз, посаженных неправильно, как гвозди по старой мягкой дерюге. И все глаза горели тепло. Не как звериные — как окна: дом ночью, когда тебя ждут и не запирают.

От него пахло домом. Настоящим домом — тёплым деревом, печной золой, травой, сушёной на карнизе. В этом мире, где не пахло ничем, запах дома был оружием, и Тиша понял это раньше, чем сделал что-то ещё.

— Ну вот, — сказал домовой вежливо, поглядывая на подростков поверх Тишиного плеча. — Все в сборе. Поря-

док.

И Тиша выстрелил.

Не решил — выстрелил. Руки сделали это сами: дедова выучка, семнадцать лет муштры собственного тела. Ружьё к плечу, спуск — грохот встал в мёртвом лесу, как несущая стена, и дробь пошла в лицо с сотней тёплых окон-глаз.

Дробь не долетела.

На полпути, на глазах у всех, она потемнела, посерела, рассыпалась — и на снег упал мелкий пепел. Ровный. Знакомый.

Теперь Тиша знал, откуда пепел вокруг черноты между елями. Это был пепел выстрелов. Всех выстрелов, которые когда-либо направляли туда, где стоит хозяин.

— Дедов заряд, — сказал домовой уважительно. Он наклонился, зачерпнул горсть пепла ладонью — ладонь была как совок от лопаты — и поднёс к лицу с гвоздями-глазами. Понюхал. — Хороший. Плотный. Такого в наших краях давно не били.

Подростки молчали. Витёк сидел на снегу, обняв камеру, как обнимают собаку. Лиза дышала часто и мелко. Сенька смотрел на Тишу — и на его лице медленно проступало не страх, а что-то другое: узнавание. Он смотрел на человека, который выстрелил в хозяина дома, в котором находился сам, — и не испугался, что теперь достанется всем.

— Первый выстрел — это приветствие, — продолжил домовой, стряхивая пепел. — Молодец, что поздоровался.

Иные в гости входят молча — так входят воры, а не гости. А ты поздоровался как положено. — Глаза моргнули. Все сразу, и в этом единовременном моргании было что-то домашнее, почти уютное. — За приветствие — подарки. Потом работа. Без работы у нас никто не гостит.

— У нас нет… — начал Сенька.

— Есть, — сказал домовой. — Всё есть. Вы просто ещё не знаете, что у вас есть. — Он повернулся к подросткам, и всем сразу показалось, что гвозди-глаза смотрят каждому персонально. — У сторожки лежит топор. Старый, кованый, ручка к нему новая. Топор чужой кровью не помечен — это важно. Найдите его. Принесите домой. Дом без топора — не дом, а барак.

— В сторожку? — переспросила Лиза. — Туда?

— Туда, — согласился домовой. — Вы ведь уже шли туда. Только не дошли. У нас все ходят не доходя — это у нас традиция. Дойдёте — увидите топор. Принесёте — будете в гостях. Не принесёте — будете там же, где сейчас. Это тоже традиция.

— А сколько у нас времени? — спросила Лиза. Голос у неё был ровный, и ровность эта стоила ей дороже, чем крик.

— У нас, Лизавета, время есть всегда, — сказал домовой. — Это у вас его нет. У нас оно, наоборот, вас ищет.

Потом он повернулся к Тише — и на секунду все гвозди-глаза стали смотреть только на него, и в этой внезапной сосредоточенности было что-то от того, как смотрит учитель

на единственного ученика, который не списывает.

— А ты, Тихон, — сказал домовой, и от звука полного имени по Тишиной спине прошло что-то давно замёрзшее, — сходи, осмотрись. Семнадцать лет ничего не трогали. Всё, поди, сопрело. Проверь, что на месте, а что сгнило. К вечеру вернёшься — поговорим.

— Про что? — спросил Тиша.

— Про то, что ты в семь лет смеялся, — сказал домовой просто. — Сходи. Тебе нужно на воздух. А воздух у нас хороший. Подышишь — и смеяться не захочется.

Тиша поднял ружьё, проверил патронник, сунул обрез поглубже за пазуху, кивнул подросткам — коротко, как кивают коллегам на смене, — и пошёл от огня.

Лиза проводила его взглядом. Потом наклонилась к Сеньке и сказала тихо, одними губами:

— Он назвал его по имени. Тихон.

— Ну а мы как же, — сказал Сенька одними губами.

— Нет. — Лиза покачала головой. — Мы знали кличку. А полное имя он отдал тому, кто его назвал. В посёлке его никто не зовёт Тихоном. Даже мать.

Сенька посмотрел на спину уходящего Тиши и вдруг понял, что Лиза права, — и что это значит что-то такое, о чём у него пока нет слов. Слова будут позже. Позже слова будут всегда.

Тиша шёл и смотрел.

Он делал то, что умел: осматривался, как осматривается

хозяин после долгой отлучки. Проверял изгороди — изгороди были. Проверял родник у ольховой куртины — родник журчал правильно, но вода не холодила пальцев, когда он тронул её рукой. Проверял мостки через старицу — мостки скрипели на двух досках из трёх, как положено. Всё было на месте. Всё сопрело ровно настолько, насколько положено сопреть за семнадцать лет. И от этой исправности у Тиши, у человека, который смеялся, когда всем было смешно и когда всем было не до смеха, — от этой исправности свело скулы.

Мир был сделан кем-то, кто читал его память. И в памяти Тиши было много правильного и мало настоящего.

Он понял это на заячьей тропе.

Заяц сидел посреди тропы — белый, ноябрьский, чёрными глазами из-под белых ресниц. Обычный. Тиша видел таких три сотни раз. Он вскинул ружьё — не для выстрела, по привычке, как поднимают трубку, когда звонят, — и не выстрелил, потому что в сидящего зверя он не стрелял никогда: это было не ремесло, а жестокость, а жестокости в нём не было, как не было страха.

Заяц посмотрел на него.

И Тиша понял, что глаза у него не заячьи.

Не горящие — хуже: внимательно-вежливые, как у человека, который ждёт, когда ты договоришь, чтобы сказать тебе то, что перечеркнёт всё. Так смотрят не звери. Так смотрят из очередей, из окон приёмных, из-за соседнего стола в столовой.

— Ну, — сказал Тиша тихо. — Здравствуй.

Заяц не убежал. Заяц напал.

Он прыгнул не так: не вперёд, а вверх — и вверх он пошёл выше, чем разрешает заячье тело, выше, чем разрешает тяжесть, — как будто вес его был завязан на другом узле, в другом мире. На середине прыжка он раскрыл рот. Рот был слишком широкий, и зубов в нём было слишком много, и зубы были не заячьи — ровные, белые, свежие, — и Тиша узнал этот рот.

Он видел его сегодня утром. В пепле, у круга черноты.

Тиша выстрелил от бедра — дробь взяла туда, где заяц был полсекунды назад, и расщепила сучок, которого не должно было быть в этом лесу, потому что этот сучок был из настоящего. Заяц был уже в стороне, где его быть не могло, — и снова прыгал, молча, и рот его оставался открытым, как у рыбины, снятой одной плёнкой.

И Тиша побежал.

«Стёкла не бегают», — сказал он себе на бегу и сразу поправил: «Стёкла бегут. Стёкла бегут, если за ними бежит что-то с зубами, которые оно срисовало с моей же лисы».

Он бежал, и лес бежал с ним — не отставал и не отступал, а именно бежал: мимо на полной скорости неслись стволы, и стволы были те же, что пять минут назад, и пять минут до того, и он понимал это всем телом охотника, знающего свой лес, — но понимание не помогало, потому что заяц выныривал то слева, то справа, то прямо, и всякий раз вставал меж-

ду Тишей и тем, куда Тиша хотел идти. За ним не гнались. Его пасли. Он понял это так же ясно, как когда-то понял, что собака не гонит стадо, а ведёт.

Глава 5. Обрез

Он врезался в ольшаник, продрал куртку, вывалился на кромку оврага — и только тут понял, что бежал не прочь от зайца, а именно туда, куда заяц хотел.

Слишком поздно.

Заяц вынырнул сбоку, из-под снега, — так, как выныривает не зверь, а тень, которой позволили иметь лапы, — и ударил. Лапа была маленькая, белая, опрятная, с розовыми подушечками, — и ударила, как свая. Тиша даже не увидел удара: он услышал, как ружьё ушло из его рук — короткий сухой выдох дерева, — и ружьё, дедово, тёплое, жившее с ним семнадцать лет, отлетело через кромку и утонуло в овраге, в чёрной листве.

А сам он полетел следом. Не упал — сиганул: тело сделало то единственное, что умело в такой момент, — выбрало падение само, раньше, чем его выберут. Овраг обнял его на лету, крутанул, уложил спиной во что-то мягкое и мёртвое. Пахнуло прелью. Настоящей прелью — единственным настоящим запахом за весь этот день.

Тиша перекатился и сел.

Овраг был глубокий, в две человеческие высоты, и дно его было выстлано старой листвой и пеплом — тем самым пеплом, ровным, как по шнуру. Над головой, на кромке, висело серое глянцевое небо, и на его фоне стоял заяц.

Он смотрел вниз. Потом — Тиша не успел бы сказать, когда именно это произошло, — заяц спустился. Не прыгнул, не покатился: спустился, как спускается нечто, которому не нужны ни прыжки, ни дороги. Стоило моргнуть — и он стоял на дне оврага, в трёх шагах.

Рот его был открыт.

Широкий, до ушей, с ровными белыми зубами — и среди них, по углам, сидели два лисьих клыка, изогнутые, свежие, влажные. Дыхание зверя пахло пеплом и чем-то ещё — тонко, familiarity не поддающимся: так пахнет комната, из которой только что вынесли мебель, где долго жил человек, и стёрли всё, кроме памяти стен.

Заяц поднял передние лапы. Аккуратно. Так поднимают нож и вилку.

И в этот момент Тиша засмеялся.

Тихо. Беззлобно. Почти ласково — тем самым смехом, который выучил в семь лет и который с тех пор не выключался ни разу. Он смеялся, глядя зверю в лицо, снизу вверх, из своего мёртвого листвяного логова, и смех его был тёплым и человеческим, и от этого он был страшнее любого крика, который зверь мог вообразить.

Заяц замер.

Оно умело страх — страх он читал в добыче по запаху, по дрожи, по мокрому блеску глаз. Оно умело крик, мольбу, скрежет зубов. Оно за семнадцать лет работы в этом лесу повидало всё, чем живое отвечает неживому. Смеха в его

перечне не было.

Добыча не смеётся.

А Тиша смеялся — и в этой секунде, пока зверь подбирал в своей памяти строчку, которой не существовало, левая рука Тиши уже работала: рывком из-за пазухи, короткий ствол, тяжёлый, домашний, — обрез, который он носил с двенадцати лет, как зонтик. Всякий настал. Дождь, в который он не верил, начался.

Он выстрелил в упор.

Дробь пошла в лапу — в белую, опрятную, занесённую над его горлом, — и лапа лопнула. Не оторвалась: лопнула, как лопается всё в этом мире, где даже раны сделаны по памяти, — и из неё брызнула кровь. Красная. Тёмная. Обычная, человеческая по цвету, живая кровь — и Тиша отметил с профессиональной ясностью срубщика шкур: кровь настоящая. Значит, боль настоящая. Значит, зверь — не просто срисовка. Значит, у него есть то, что можно ранить, и это знание стоило дороже всего.

Заяц завопил.

Не заячьим писком — по-другому: тонко, жалобно, по-детски, как воет под забором собака, которую бьют впервые в жизни. Он отшатнулся, сел на задние лапы, прижимая обломанную руку к груди, — и в его чёрных внимательных глазах, впервые за весь день, проступило что-то простое и человеческое: обида. Он не понимал. Его не били никогда. Он был тот, кто бьёт.

И он побежал.

Вверх по склону оврага, не прыжками, а валом, волоком, волоча изувеченную лапу, и вой его тянулся за ним по оврагу, раздуваясь эхом, — жалостный, детский, беспомощный вой, от которого у нормального человека сжалось бы сердце. Тишиного сердца это не тронуло. Он досмеялся — коротко, в спину, — и стало тихо.

Кровь на листве лежала ровными каплями, и капли не впитывались. Просто лежали. Настоящее всегда так: его можно собрать в склянку и унести.

Тиша вылез из оврага — долго, со скрежетом в продранной куртке, — нашёл ружьё: оно лежало в листве по соседству, целое, только примёрзшее. Он отряхнул его, передёрнул цевьё, проверил патронник. Потом сел на корточки у кромки, достал обрез, вытер ствол о рукав и сунул обратно за пазуху — уже без «на всякий». Всякий состоялся. Зонтик сработал.

И только теперь, подняв голову, он увидел избу.

Она стояла в тридцати шагах — там, где по всем его картам и по всем законам этого мира не должно было быть ничего. Не глянцевая, не из посёлка-фотографии: настоящая. Потемневшие брёвна, конёк с резной лошадкой, свесившийся пучок лебеды под крышей, на окне — герань в жестяной банке из-под сгущёнки. Дым из трубы поднимался прямо и честно, и пахло из избы хлебом, тёплым молоком и ещё чем-то, чего не было ни в одном доме Кривояра и, кажется, ни в

одном доме мира. Жизнью.

Тиша постоял. Прислушался к себе — сердце стучало, колено дрожало, ладонь, стрелявшая, горела. Тело работало как положено. Он с изумлением понял, что ему это нравится.

Он подошёл и постучал.

Дверь открылась, и из неё — оттуда, из тепла, из жизни, — голосом добрым и старым, пахнущим молоком, произнесли:

— Заходи, милок. Остыл, поди. Таких, как ты, у нас не ждут, но встречают все.

И Тиша, который в посёлке не заходил ни к кому, шагнул в избу.

Глава 6. Хозяйка

Дверь закрылась за Тишей, и лес остался снаружи — глухой, ровный, как звук под снегом.

Внутри пахло жизнью, и пахло по частям, как пахнет только настоящий дом: хлебом вчерашним, у которого корка отсырела; молоком, которое уже на краю прокисания и ещё не прокисло; золой; мятой, сушёной пучком под потолком; и сверху, поверх всего, — старым человеком, у которого запах свой, как у дома. Тиша постоял в сенях. Он умел входить в чужие дома — по работе: за калиткой открывали, он входил, брал, что нужно, и уходил. Чтобы дом был ему рад, он не входил ни разу в жизни. Сейчас радовались сами доски, и он чувствовал это ладонью, как чувствуют тёплый бок печи.

— Ружьё к стене, — сказали из горницы. — Ружьё в избе не держат. Ружьё живёт на улице, как собака.

Тиша прислонил ружьё к бревну, стволом вверх, как стоят метлы. Обрез оставил за пазухой и тронул рукоять — не спрятать, а проверить, на месте ли. Дом, кажется, заметил. Дом ничего не сказал.

Он вошёл в горницу.

У окна, на лавке, сидела бабушка — маленькая, в тёмном платке, с руками, которые не двигались, а работали: каждая ладонь знала своё дело и делала его без присмотра. Она штопала чулок, и игла ходила ровно, хотя в окне стоял ноябрь-

ский сумрак и рассмотреть нитку было нельзя. Свет шёл из неё.

Глаза у неё были живые. Первые живые глаза за весь этот день — не стёкла, не окна, не гвозди на дерюге: живые, с бликами, с красными прожилками по белку, с прищуром, каким старики смотрят на гостя, заранее зная о нём всё, что положено знать.

— Садись, милок, — сказала она. — Лавка крепкая, выдержит.

Тиша сел. Изба обступила его деталями, и каждая деталь была настоящая, до последнего гвоздя: половицы, вымытые до рыжего звона; вышитые полотенца, у которых с изнанки торчали узлы — так вяжут живые руки, не машины; полка с горшками; на окне герань в банке из-под сгущёнки, и герань цвела — в ноябре, в мире, где ноябрь был срисован с чужого ноября, она цвела по-своему. И в красном углу висел образ — старый, в тёмной окладе, — и лик на нём был не стёрт и не утрачен. Лик был недорисован. Как будто писали с чужих слов и честно оставили пустое место там, где слов не хватило.

Тиша посмотрел на недорисованный лик и не отвёл глаз. Стёкла не отводят.

— Не гляди так долго, милок, — сказала бабушка без укоризны. — Ему и без нас несладко.

С печи тянуло теплом. На столе стоял самовар — тёмный, не блестящий, из тех, что греют каждый день по сорок лет,

— и над ним шёл пар, ровный и честный. Рядом лежал хлеб, нарезанный ломтями, и в пиале стояло масло.

— Ешь, — сказала бабушка. — Ты не боишься, я вижу. Тебя не пугают вещи. Тебя пугает одно, и ты про него ещё не вспомнил.

— А вы откуда знаете, чего я боюсь?

— Оттуда же, откуда знаю, как тебя зовут. — Она отломила горбушку, намазала маслом и положила перед ним. — Тихон. Из-под горы ты, из Кривояра. — Она прищурилась и сама себя поправила, как человек, который чуть не назвал чужое имя: — Ну да ладно. Имя вспомнится, когда понадобится. Пей чай.

Тиша поднял крышку с самовара. Чай был крепкий, вишнёво-тёмный, и запах у него был такой, от которого в горле сел ком — не от жадности, от узнавания. Он налил себе, отпил — и у вкуса был дом. Впервые за семнадцать лет вкус дошёл до конца, и дошёл не мимо: язык вспомнил, как это бывает, и внутри, там, где всю жизнь стояла ровная пустота, что-то тихо осело, как оседает снег с ветки, когда осыпать уже нечего.

Он выпил полкрышки и посмотрел на бабушку.

— Хорошо, — сказал он. — По-настоящему хорошо. У меня редко так бывает.

— Редко? — Бабушка усмехнулась беззубо. — Милок, у тебя ни разу не было. Это сейчас было по-настоящему, а всё, что раньше, — так, вполсилы. Тут всё по-настоящему. На-

стоящая вода, настоящий хлеб, настоящий холод. Поэтому сюда и идут — иногда даже не понимая, что идут. За настоящим.

— Вы знаете, как меня зовут, — сказал Тиша. — А как зовут вас?

— Дарья Сергеевна меня звали. А здесь зовут как придётся. — Она поджала губы. — Здесь имён не уважают. Здесь уважают работу. Я тут встречаю.

— Кого встречаете?

— Всех, кто идёт по лесу и выходит к моему окну. Таких мало, милок, не радуйся. За три недели — трое. Ты четвёртый.

Она поднялась — неторопливо, как встают люди, у которых спина давно приучена к каждому движению, — сняла с крюка чугунок, поставила на стол, открыла. Там было молоко. Разлила ему в блюдце, себе в крышку.

— Кровью измазался, — сказала она, не спрашивая, глядя на его рукав. — Чьей?

— Заячьей.

Бабушка подняла на него глаза. Медленно, с усилием, как поднимают тяжёлое.

— Настоящей?

— Настоящей. Я срубщик шкур, я знаю. У крови был цвет. У лапы была тяжесть. Воет сейчас, поди, где-нибудь.

Бабушка отложила чулок и штопку. Она сложила руки на столе — сухие, узловатые, с синими жилами — и сказала

тихо:

— Тогда слушай меня внимательно, Тихон. Ты сейчас единственный во всём лесу, у кого в руках то, чего хозяин отнять не может. Кровь. Настоящую кровь он не может сделать пеплом. Пепел он делает из того, что летит к нему нарочно: дробь, камни, зло. А кровь — она из живого. Из живого он берёт не пеплом, а по-другому. Хуже. — Она помолчала. — Ты ранил его зверя. Теперь ты вошёл в список.

— В какой список?

— В список тех, кого он не просто гостит. Кого он берёт.

Тиша отпил молока. Молоко было тёплое, и у него тоже был вкус, и вкус был настоящий.

— В него я уже стрелял, — сказал он. — Сегодня. Из дедова ружья.

— Знаю. Гром было слышно на всё, что у нас есть. У нас есть немного, но гром дошёл. — Бабушка покачала головой — не осуждающе, скорее с профессиональным интересом. — И что?

— Пепел. Дробь потемнела в воздухе и осыпалась. Он поднял горсть и понюхал. Сказал: дедов заряд, хороший, плотный.

— Так и скажет. Он вежливый, милок. — Бабушка говорила о хозяине так, как говорят о соседе, который тридцать лет не здоровается, но у которого всё равно то и дело берут провод. — Вежливый и не жадный. Разборчивый. Мне он в первый же вечер работу предложил.

— Какую?

— Дом. Хозяйство. Всё как положено: изба моя, печь моя, гостям я ставлю. Только дом его, понимаешь? Не мой. Я ему ответила: у меня дом есть, стоит в Заречье, в нём четыре горшка герани и я сама. Он посмеялся — тёплым, домашним смехом, как смеются за столом, когда хорошо, — и позволил. Потому что я старая. — Она развела руками. — Нас, старух, он не берёт, милок. У нас для него всё на вкус как пепел. Он берёт молодых, у которых чего-то много. Смеха. Страха. Голоса. Он не жадный — он разборчивый, как всякий хороший хозяин.

Тиша отломил ещё хлеба. Жевал медленно, слушал.

— А тех, кого берёт, — что с ними?

— Изба у них становится. Или лес. Или песня. — Бабушка пожала плечами. — Кто как годится. Он хозяйственный, ничего не пропадает. Топор, который дети твои ищут, тоже из кого-то сделан, поди. Не спрашивай из кого. У меня чай стынет.

Она снова налила ему. Пар поднимался ровно, и Тиша вдруг заметил: пар шёл вверх — в отличие от дыма у костра подростков, который тянуло вбок, в темноту, вдыхать. Изба была настоящая по всем швам.

— Про столб в нашем посёлке вы знаете? — спросил он. — «Он всё ещё ходит».

— Знаю. По ночам там ходят. — Бабушка понизила голос не из страха — из вежливости, как понижают голос о

третьих, пока те не пришли. — Те, кто остался служить. Их немного, и они себя сами не любят. Они пишут на столбах, на заборах, на воротах. «Он всё ещё ходит» — это не нам, милок. Это они себе пишут. Напоминание. Как старуха вешает узелок на крышку кастрюли, чтобы не забыть, что молоко кипит.

— Культ, — сказал Тиша. Слово было чужое, книжное, но оно пришло само.

— Называй как хочешь. Суть одна: он им дал работу — они делают. Как я тебе ставлю чай, так они ему ставят страх. На посёлок, на стариков, на всякого, кто забредёт. Страх — это тоже работа, милок. Самая простая: ни печи, ни муки не надо — пошептал на столбе, и готово.

— А Хромой? — спросил Тиша. — Он из них?

Бабушка молчала долго. Потом ответила — и ответила так, как отвечают о больном родне:

— Хромой здесь есть. Я его видела дважды. Он в лесу живёт, у него балок есть — настоящий, старый, с настоящей ржавчиной. Только он не служит. Он не пишет на столбах — он пишет кровью. На деревьях, на воротах, на снегу. Не слова — знаки. Хозяин эти знаки читает. — Она посмотрела в окно, в черноту. — Хромой не в списке хозяина, милок. Хромой в его списке хозяин. Ты это поймёшь, когда увидишь его ноги. И потом, — она обернулась, и голос её стал совсем тихим, — не показывай ему, что знаешь, кто ты. Пока не время.

И тогда она рассказала ему — или он понял это по её лицу, когда она замолчала, — как она здесь очутилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.